

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Осенью 1967 года я написал первую редакцию своего эссе «Человек воздуха» (потом он получил название «Человек без прилагательного» и «Человек ниоткуда»).

Почти год я выслушивал возражения друзей, вычеркивал, вписывал, исправлял. Происходили события — и входили в построенную модель вставные эпизодами. Но вдруг случилось нечто, не вписавшееся в текст. Не договорив монолога, Гамлет упал в оркестр. Эссе, который никак не удавалось окончить, оказался написанным в прошлую эпоху, а мы — в новой.

В том, что у меня писалось, есть одна условность: все строится по оси спора с почвенниками. Запах кваса и погрома заставил меня определить себя как человека диаспоры. Я встал на точку зрения диаспоры и развил ее насколько мог. Я встал на точку зрения «вонючего интеллигентского гуманизма», от которого бегут поклонники Розанова, и постафался показать, чем может и должна стать интеллигенция. Но диаспора и даже интеллигенция — это не клетки, в которые я посадил себя на всю жизнь. В самом глубоком слое я чувствую себя человеком без всяких прилагательных: определить и ограничить себя я согласен только по отношению к тому, что находится над всеми частными решениями. Можете назвать это Богом, Абсолютом, Пустотой, Единым, Ничто: я не привязан ни к одному из этих слов больше, чем к другим. Но этому что-то, насколько я его понимаю и угадываю, я служу. А все то, что можно высказать, сформулировать, не связы-

вает меня безусловно, и я всегда готов сказать вместе с Достоевским: «если бы как-нибудь оказалось (предполагая невозможное возможным), что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Иначе говоря: с тем, что я люблю, а не с отвлеченным принципом. Принципы для меня все условны, в том числе принцип диаспоры (а не земли), интеллигенции (а не простецов) и пр. Иногда я буду с прослецами против снобов, с народами и племенами против космополитов и т. п.

Мой спор с внутренне честными почвенниками только об одном: где искать нравственную опору. Я утверждаю, что почва сползает, и корни, пущенные в нее, легко могут оказаться в пустоте.

Я утверждаю, что надо искать опору в первичных впечатлениях бытия, то есть в тех слоях подсознания, которые воспринимают какую-то подсказку, какие-то сигналы от бытия как целого, неразложимого на атомарные факты и потому таинственного, непостижимого. Если какой народ эту способность сохранил, то разве только бушменский; этой способности нельзя научиться у нынешних масс.

Один из моих собеседников заметил, что подлинная почва — это религиозная традиция, что народ еврейский сохранился, потому что почвой его была вера, и такой же почвой для современной Европы, впавшей в духовное рассеяние, может стать христианство. Я согласен с этим, если подчеркивать в христианстве некий дух (который есть и в других вероисповеданиях). Я не согласен с этим, если подчеркивать исключительность христианства и противопоставлять его всем духовным традициям мира, в том числе самым высоким. В таком обособлении я вижу попытку спрятать голову в песок, уйти от

трудного вопроса о едином языке и едином образе духа для всех континентов и даже, во многих случаях, попытку поставить китайцев, например, вне круговой поруки добра. Впрочем, какой-то первой точкой опоры, каким-то бревном в водвороте может быть и самая исключительная христианская вера.

«Человек ниоткуда» был попыткой поднять против причитного погромного почвенничества чистое, не захваченное сейчас никакими подонками знамя космополитизма. Но я вовсе не говорю, что космополитизм (интернационализм) всегда благо, а почвенничество — всегда зло. Смотря какое почвенничество, смотря как оно повернуто, смотря в чем искать «почву». В почвенничестве мелькают несколько идей, с которыми я совершенно согласен. Я вполне понимаю Л. О., сказавшую, что Кольма ее тревожит гораздо больше Освенцима, и не отказывалось от своей доли стыда, от своей доли национального позора. Я вполне понимаю и принимаю боль за свои национальные язвы, повышенное чувство ответственности за родные грехи. То, что я отвергаю, это только поиски вредителя в другом, в иномродческом и иновещерском микробе. Я убежден, что с этого начинается авторитарное мышление, черная согня, фашизм.

Мы расходимся с внутренне честными почвенниками в понимании многих вещей, но мы сходимся в неприятии морали, которую массы спокойно принимают: закон — тайга, мишка-прокурор. До каких-то пор я готов идти вместе с Л. О. и всей не-глазуновской частью почвеннической интеллигенции, потому что все мы не можем дышать в присутствии дьявола, а это сейчас главное.

Потому что то, что произошло, трудно описать иначе: мы внезапно ощутили живое присутствие

дьявола. Темные слои подсознания, которые казались дремлющими, внезапно оживились и стали подсказывать ходы игрокам в крупной международной игре. Мир покачнулся — и сделал еще один шаг к концу. Потом остановился, как Пизанская башня, наклонившись над бездной. И мы вернулись пить свой кофе и размышлять над положением пучков в многомерном пространстве.

Политика и мораль — разные вещи. Это, может быть, верно сегодня, завтра, послезавтра, и вдруг целая цивилизация, подорванная упадком нравов, идет под откос. Где-то есть предел, а за ним пропасть, в которую обрушивались древние царства. Это нельзя переходить, но сейчас все человечество подошло к этой грани, и все мы рухнем, как обрыв, о которых писал летописец: «были телом велики и духом горды, и погубил их Бог, и осталась потворка на Руси: погибоша аки обрбе, их же нехъ ни племени, ни наследка».

Есть предел политической безнравственности, оправданной государственными соображениями, за которыми гибнут Гоморра и Содом, гибнет царство Ассурбанипала, Цинь Шя-хуанди, Гитлера, Муссолини. Потому что человеческое общество не может существовать без какого-то минимума солидарности — естественной, не предписанной законом.

Мне возражали, что фашистские государства все же не были безнравственными. Что нравственность как система общественных норм была там строже, чем в государствах демократических. Да, но нравственность лишь *может* работать как система общественных норм. В своей основе нравственность — это заповеди, необходимые лишь для того, чтобы человек в своем поведении не задевал те слои подсознания, которые способны работать как прием-

ник и улавливать то, что Моисей назвал голосом Яхве, Будда — дхармой, а Лао-цзы — дао. Назовите это, как хотите. Но никакой другой, лучшей нравственности рационализм не смог придумать. Когда прекращается шепот неба, начинает вдохновлять бес, и дьявольщина разрастается в обществе, пока не пожрет его. Это объективный исторический закон, который впервые сформулировал Сыма Цинь (если Н. И. Конрад правильно интерпретировал соотвествующий иероглиф), и никакие нормы, установленные государствами и диктаторами, не помогли против этой болезни. Все они держатся на инерции религиозной нормы и падают вместе с ней.

Существует объективный минимум солидарности, без которой общество разваливается, и от эпохи к эпохе этот минимум не падает, а растет. Бушмену достаточно любить 40-50 людей, с которыми он вместе кочует по пустыне. Это ему легко дается, и средний бушмен — хороший бушмен. В большом племени, при тесных связях маленьких родовых групп, поселений, деревьев — труднее быть хорошим. Поэтому увеличивается роль внешней регуляции, всяких норм, законов, правил. Не надо думать, что законничество было только у древних евреев. Племя того в Танзании регулирует такие вещи, которые ни Моисею, ни даже Эзре не пришлось бы в голову узаконить; например, муж непременно должен укладываться на правый бок и ласкать жену левой рукой, хозяйки эливают помой непременно на запад (как и наши журналь) и т. д.

В ранних империях, сменявших и рассыпавших племена, племенные законы также рассыпались. Римские императоры пытались выйти из нравственного хаоса, дав народам себя как бога, а свои эдикты как заповеди. Но императоры (даже очень

хорошие, как Марк Аврелий) были слишком заняты государственными делами. Они едва успевали войти в роль нравственного образца, как опять надо было кого-то распинать, пытать, раскрывать заговор. А эдикты, юставленные на бивуаке, слишком отдавали государственной необходимостью, и совсем мало — человеческим сердцем.

Тогда пришел Иисус, сын плотника из Назарета, и сделал то, чего не сумел царь. Он вернулся к нравственной интуиции, оставленной законниками, и прислушался к ней до того, что стал «одно с Отцом», — и в этой форме, подсказанной традицией, понял, что чувствует любовь к каждому человеку, каждому созданию на земле как к своему ребенку. Нового закона еще не было, но Иисус сам стал законом («написанным в сердце»); он знал, когда выполнять старые законы, а когда не нужно. Ему подсказывала та же нравственная интуиция, которая помогает бушманам жить на стоянке без ссор — только интуиция более развитая, способная обнять всю землю.

Так была решена задача времени. Так родился «Сын Божий», гений человечности, способный побить все 10 или 20 или 30 миллионов подданных Римской империи, и варваров, угрожавших ее границам, и друзей, и врагов, как самого себя. И был найден ключ к превращению массы, покорившейся римскому закону, в народ, связанный не только общим страхом, но и любовью. То есть — к солидарности без кровной мести между родами, без племенной вражды. Ключ этот был найден в человеке, ставшем совершенным, «как совершен Отец наш небесный» — то есть открывшем в себе все те качества, которые пророки увидели на небесах.

Иисус нес себя миру, но для мира это было слишком просто: обновиться, преобразиться полностью он

не мог. Миру нужен был компромисс ветхого и нового Адама — и он получил этот компромисс как смесь монашества с исламом.

Иисус не устранивал монашества. Это сознательно сделал только Будда, может быть, потому, что общество, с которым он столкнулся, еще меньше подготовлено было к реформам. Но сыновья Нового Адама нетвердо стояли на ногах, — чтобы не затеряться, чтобы уцелеть, они уходили в пустыню, собирали своих за монашеской стеной. Оттуда они потихоньку светили миру (как Сергей Радонежский — Дмитрию Донскому), там они хранили душевный огонь для дня, когда мир созреет, чтобы принять его. А для мирян, потерявших племенной завет, был создан ислам. Я называю исламом то, что яснее и проче других дал Мохаммед: систему заповедей, основанных на покорности одному для всех Богу. Закон такой же твердый, ясный, обязательный, как племенной, но приспособленный к племенному, детрибализованному миру.

К этому пришли все мировые религии, с чего бы они ни начали. Буддизм сперва был только монашеством, — но очень скоро появился «ислам» для мирян. Ислам был только «исламом» — но суфийские ордена, странствующие дервиши — своего рода монахи.

Средневековая комбинация «монашества» с «исламом» была реалистическим выходом из положения. Она дала возможность подняться на новый уровень солидарности (буддийского мира, христианского мира, мира ислама), позволила создать стройную систему культуры, охватившую своим влиянием все слои общества, и консолидироваться после духовной разрухи анличных империй. Но потом история свернула. Старый путь оказался тупиком.

«Ислам» скрывал развитие личности. «Монастырь» давал ей только одну дорогу, вверх, а требовалось шире, свободнее развернуться и на плоскости. Это движение разрушило логическую постройку.

Когда говорят о кризисе религии, практически имеется в виду, что средневековая структура (существование «монастыря» с «исламом») не годится для нового времени. Это верно. И дело не только в том, что монастырь или ислам испортились. Нам не стало бы легче, если бы вдруг в первоначальной чистоте возродился ислам первых четырех праведных халифов. Праведные халифы с удвоенным рвением возобновили бы войну с неверными, и ко многим антихристам, обещающим спасти мир, истребив своих врагов, прибавился бы еще один. А у нас, как известно, достаточно спасителей, готовых уничижить вселенную, лишь бы восторжествовали их принципы, и так как современный интеллигент создает множество принципов (а следовательно, и проектов спасения человечества), мир и без нового Омара или Петра Пустынника достаточно близок к гибели. Что же касается монастырей, то какал-то форма самосохранения тонких и хрупких организмов, возможно, опять возникнет; но какой она должна быть? Этого мы не знаем, и простое сохранение или возрождение старых форм вряд ли достаточно.

Снова, как в древности, возникло сожительство людей, вышедшее за рамки старых духовных единств, национальных и религиозных. Снова до зарезу нужна нравственная интуиция, всеми заброшенное Царство Божье внутри человека. Снова не хватает солидарности для решения самых элементарных вопросов. Академик Сахаров посчитал, что для того, чтобы не допустить массового голода и ка-

гастрофических общественных судорог в третьем мире, надо обложить развитые страны огромным налогом: но даже налог в 1%, предложенный Горowitzом несколько лет тому назад, серьезно не рассматривался. Разумность этого проекта никто, конечно, не оспаривал, но, чтобы принять его, надо опить поставить человека выше субботы (коммунистической, капиталистической, расовой, — любой), нужно возлюбить не только союзников, — ибо «так поступают и язычники», — но и врагов. Без выхода на новый уровень солидарности современные проблемы неразрешимы. Наука может описать современные болезни, вылечить их она не в силах.

И вот оказывается, что мы переросли только популярное средневековое понимание христианства и буддизма, а до того духовного и нравственного уровня, на котором свободно парили Иисус и Будда, нам еще очень-очень далеко. Если бы мы досрочно чуть повыше, хотя бы до колен, — самые неотложные вопросы были бы решены.

Не будем спорить, какая вершина выше и как они друг к другу относятся. Но если христианский мир станет хоть немного более христианским, а буддийский мир — буддийским, воспрянет надежда на выход из тупика.\*

Без запутанности, абсурдность нашего времени в том, что мы пытаемся решать проблемы двадцатого

\* В какой-то мере это относится и к другим учениям: если индуизм станет ближе к фаятанье, ислам — к ал Халладжу и даже марксизм — к мыслям раннего Маркса об отчуждении... Самое важное сейчас движение — внутри систем, от буквы к духу, а не простая смена символов (перешли из марксизма в православие — и успокоились).

века так, как они решались в девятнадцатом (и раньше: с эпохи Возрождения): опираясь на достигнутый нравственный уровень, принимая его как данность. Мы пытаемся действовать, как Фауст, не замечая, что фаустовская эпоха кончилась, что для развитых стран она исчерпана, что Новое время стало старым. И нужно, как в кошмарном сне, проснуться и освободиться от представлений, потерявших связь с реальностью. Если нет выхода из плоскости интеллекта, это просто значит, что надо подняться на новый духовный уровень, посмотреть на горы, которые кажутся неприступными, сверху.

В этой работе есть свои интеллектуальные задачи. Одна из них, над которой, как мне кажется, стоит подумать — задача скрытого имама. По (Духовской) легенде мессия (скрытый имам), объявившись, не принесет нового закона (это прогнорочило бы исламу), но даст новое толкование всех прежних пророчества, прояснит их духовное единство, — и вражда между «народами книги» исчезнет. Если хорошо выполнить эту задачу, отпадет много недоразумений. Станет ясно, что сегодня нет внутреннего спора между иудаизмом Мартина Бубера, католицизмом Генриха Бёлля и индуизмом Рабиндраната Тагора: между ними может быть установлен духовный, ценностный контакт, — но есть очень существенная разница между христианством св. Франциска и св. Доминика: разница духовного уровня. Очень важно понять, что различия духовного уровня важнее различий языка, а (движется к единой) вершине, к единому свету, пусть каждый своим путем. Только так можно внести единство в современное, почти бесконечное разнообразие индивидуальностей (национальных и личных). Одного вероисповедания на современный мир не хватит, слишком этот мир пестр.

Но главное не то. Главное не во внешней интеллектуальной возможности диалога, а во внутреннем духовном слухе. Главное — зашевелится ли хоть слегка тот самый слух под- или над-сознания, который откликается на подсказку «сверху» и дает силы бороться с шепотом преисподней.

✱

Это задача не для ученых, не для мыслителей, не для святых, а для каждого. Наша повседневная жизнь создает нравственный климат, в котором рождается Событие. Я не думаю, что от дьявола можно отсидеться, размышляя о положении лучков в многомерном пространстве. Это ему нипочем. Существует простой механизм, описанный в старину как первородный грех.)

(Среднему человеку, захваченному делами, заботами, болезнями, бегством от скуки и проч., болотные огоньки ближе, чем заря, звезда, Бог. Почва, представленная самой себе, родит скорее сорняки, чем пшеницу. Маленький принцип каждое утро обходит планету и выдергивал баобабы. Он говорил, что баобобы, разрозненные, могут разорвать планету на части.

Если мы будем рассчитывать, что все само собой образуется, без нас, — некому будет помочь Богу.

Октябрь 1968 — март 1969